

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей	7
ЮРИЙ КАЗАКОВ ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ	11
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ ПЕРЛОВЫЙ СУП	43
ЮРИЙ КОВАЛЬ ВЫСТРЕЛ	63
ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ СВИДАНИЕ С ПТИЦЕЙ	77
ВИКТОР ДРАГУНСКИЙ ПОЮТ КОЛЁСА — ТРА-ТА-ТА	103
ВИКТОР ГОЛЯВКИН ПРЕМИЯ	119
ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН ДОМ С БАШЕНКОЙ	129
АНДРЕЙ БИТОВ НО-ГА	171
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР МУЧЕНИКИ СЦЕНЫ	195
ВАСИЛИЙ АКСЁНОВ ЗАВТРАКИ СОРОК ТРЕТЬЕГО ГОДА	221
ЮРИЙ НАГИБИН ЗИМНИЙ ДУБ	243
ВАЛЕНТИН РАСПУТИН УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО	265
ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ	309
Тексты рассказов печатаются по изданиям...	331

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В эту антологию вошли рассказы тринадцати русских писателей второй половины XX столетия, в которых дети не просто выступают в качестве персонажей, а воспринимают мир особым образом, не похожим на видение окружающей действительности взрослыми героями.

Подобного рода тексты восходят к достаточно давней традиции, укрепившейся в европейской словесности как минимум в XVIII веке (начиная с революционных книг Жан-Жака Руссо), а в отечественной прозе — в XIX столетии. Особая заслуга здесь, конечно, принадлежит трилогии Льва Толстого “Детство”, “Отрочество”, “Юность”, но не будем забывать и о таких разных произведениях и фрагментах произведений, как начальные страницы “Капитанской дочки” Пушкина, “Городок в табакерке” Владимира Одоевского, сон Обломова в одноимённом романе Гончарова, рассказ Достоевского “Мальчик у Христа на ёлке”, повесть Чехова “Степь” и многих других.

Второе дыхание эта традиция обрела в эпоху модернизма. В 1925 году проницательная исследовательница русской и европейской литературы Лидия Гинзбург не без иронии писала:

Почти одновременно выходят: книжечка прозы Пастернака и книжечка прозы Мандельштама. Так сказать, красивый жест книжного рынка! У Пастернака самый большой и самый “новый” рассказ — “Детство Люверс”. У Мандельштама маленькие заведомо бесфабульные очерки, связанные единством автобиографического героя-ребёнка. Поворотили на детей. “Котик Летаев” сделал функцию героя-ребёнка совершенно явной: мотивировка остранения вещи etc., etc¹.

¹ Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2022. С. 21–22.

В этой записи упоминается повесть Андрея Белого “Котик Летаев”, главным предметом рассмотрения которой, по определению Евгения Замятина, стала “детская психика, период первых проблесков сознания в ребёнке, когда из мира призрачных воспоминаний о своём существовании до рождения, из мира четырёх измерений — ребёнок переходит к твёрдому, больно ранящему его трёхмерному миру”¹.

Лидия Гинзбург указала на очень важную и всё же — лишь на одну функцию героя-ребёнка в литературных произведениях, функцию остранения окружающего мира. Термин *остранение*, введённый в филологическую науку учителями Гинзбург, означает, что на привычные предметы и явления с помощью того или иного приёма писатель заставляет читателя посмотреть как на диковинные и увиденные впервые. Взгляд на мир глазами ребёнка давал авторам такую возможность.

Однако в рассказах, составивших эту антологию, к функции остранения роль ребёнка отнюдь не сводится. Установить, какова была эта роль в каждом конкретном случае, призваны наши по возможности краткие пояснения, расположенные после каждого рассказа.

В этом и состоит главное ноу-хау антологии: следом за рассказами, содержащими *загадку* ребёнка, помещены интерпретации этих рассказов, в которых предпринимается попытка найти *разгадку* или, по крайней мере, наметить пути к её нахождению. Разумеется, мы не претендуем на то, что предложенные нами разгадки единственно возможные или даже безусловно правильные. Скорее мы надеемся, что наши гипотезы подтолкнут читателей к поиску собственных ответов.

Вряд ли нужно уточнять, что в нашу небольшую антологию вошли далеко не все значимые рассказы русских писателей второй половины XX века, чьими главными или важными героями стали дети. Среди оставленных нами без внимания произведений особо выделим рассказы Фёдора Абрамова, Василия Белова, Юрия Мамлеева,

¹ Замятин Е. Андрей Белый // Замятин Е. Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М., 1999. С. 211.

Виктора Пелевина, Евгения Харитонов. Основным критерием отбора для нас послужила оригинальность авторского подхода к образу ребёнка в тексте. Также нам хотелось, чтобы в антологии были представлены писатели разных направлений, то есть несходных этических и эстетических взглядов на мир и на искусство.

В первоначальном варианте антологии в её состав входили рассказы “Фотография, на которой меня нет” Виктора Астафьева, “Игры в сумерках” Юрия Трифонова и “Космос, нервная система и шмат сала” Василия Шукшина. По не зависящим от составителей и издательства причинам они, к сожалению, были исключены. С этими рассказами заинтересованный читатель может ознакомиться самостоятельно, а наш разбор текста Астафьева он при желании найдёт в седьмом номере журнала “Знамя” за 2023 год.

Мы долго размышляли о том, в каком порядке расположить тексты, и в итоге решили руководствоваться не хронологией написания рассказов и не хронологией событий, в них изображённых, а возрастом героев-детей. Так что нашу антологию открывает рассказ о полуторагодовалом мальчике, а завершает рассказ, написанный от лица восемнадцатилетней девушки.

Мы считаем своим приятным долгом выразить глубокую благодарность Веронике Дмитриевой и всей “Редакции Елены Шубиной” за профессионализм и неизменную дружескую поддержку.

ОЛЕГ ЛЕКМАНОВ, МИХАИЛ СВЕРДЛОВ

ЮРИЙ КАЗАКОВ

Во сне ты
горько плакал

Был один из тех летних тёплых дней... Мы с товарищем стояли и разговаривали возле нашего дома. Ты же прохаживался возле нас, среди травы и цветов, которые были тебе по плечи, или приседал на корточки, долго разглядывая какую-нибудь хвоинку или травинку, и с лица твоего не сходила неопределённая полуулыбка, которую тщетно пытался я разгадать.

Набегавшись среди кустов орешника, подходил к нам иногда спаниель Чиф. Он останавливался несколько боком к тебе и, по-волчьи выставив плечо, туго повернув шею, скашивал в твою сторону свои кофейные глаза и молил тебя, ждал, чтобы ты ласково взглянул на него. Тогда он мгновенно припал бы на передние лапы, завертел бы коротким хвостом и залился бы заговорщицким лаем. Но ты почему-то боялся Чифа, опасливо обходил его, обнимал меня за колена, закидывал назад голову, заглядывал в лицо мне синими, отражающими небо глазами и произносил радостно, нежно, будто вернувшись издалека:

— Папа!

И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикосновения твоих маленьких рук.

Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, потому что он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя.

Теперь никогда больше не посмотрит он на тебя с нежностью, не заговорит с тобой, потому что его уж нет на свете, а ты, конечно же, не вспомнишь его, как не вспомнишь и многого другого...

Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег, поглядел ли сквозь стёкла веранды на внезапно оглохшую округу? Или он застрелился ночью? И валил ли снег ещё с вечера или земля была черна, когда он приехал на электричке и, как на Голгофу, шёл к своему дому?

Ведь первый снег так умиротворяющ, так меланхоличен, так повергает нас в тягучие мирные думы...

И когда, в какую минуту вошла в него эта страшная, как жало, неотступная мысль? А давно, наверное... Ведь говорил же он мне не раз, какие приступы тоски испытывает он ранней весной или поздней осенью, когда живёт на даче один, и как ему тогда хочется разом всё кончить, застрелиться. Но и то сказать — у кого из нас в минуты тоски не вырываются подобные слова?

А были у него ночи страшные, когда не спалось, и всё казалось: лезет кто-то в дом, дышит холодом, завораживает. А это ведь смерть лезла!

— Слушай, дай ты мне, ради бога, патронов! — попросил он однажды. — У меня кончились. Всё, понимаешь, чудится по ночам — ходит кто-то по дому! А везде — тихо, как в гробу... Дашь?

И я дал ему штук шесть патронов.

— Хватит тебе, — сказал я, посмеиваясь, — отстреляться.

А какой работник он был, каким упрёком для меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как ни придёшь к нему — и если летом зайдёшь со стороны веранды, — поднимешь глаза на растворённое окно наверху, в мезонине, крикнешь негромко:

— Митя!

— Ау! — тотчас раздастся в ответ, и покажется в окне его лицо, и целую минуту глядит он на тебя затуманенным отсутствующим взором. Потом — слабая улыбка, взмах тонкой руки: — Я сейчас!

И вот он уже внизу, на веранде, в своём грубом свитере, и кажется, что он особенно глубоко и мерно дышит после работы, и смотришь тогда на него с удовольствием, с завистью, как, бывало, глядишь на бодрую молодую лошадь, всё просящую поводьев, всё подхватывающую с шага на рысь.

— Да что ты распускаешься! — говорил он мне, когда я болел или хандрил. — Ты бери пример с меня! Я до глубокой осени купаюсь в Яснушке! Что ты всё сидишь или лежишь! Встань, займись гимнастикой...

Последний раз видел я его в середине октября. Пришёл он ко мне в чудесный солнечный день, как всегда прекрасно одетый, в пушистой кепке. Лицо у него было печально, но разговор у нас начался бодрый — о буддизме почему-то, о том, что пора, пора браться за большие романы, что только в ежедневной работе единственная радость, а работать каждый день можно только тогда, когда пишешь большую вещь...

Я пошёл его провожать. Он вдруг заплакал, отворачиваясь.

— Когда я был такой, как твой Алёша, — заговорил он, несколько успокоясь, — мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом оно для меня поблёкло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее? Знаешь, я боюсь Абрамцева! Боюсь, боюсь... Чем дольше я здесь живу, тем больше меня сюда тянет. Но ведь это грешно — так предаваться одному месту? Ты Алёшу носил на плечах? А я ведь своих сначала носил, а потом мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь

в лес, и я всё говорил с ними, говорил об Абрамцеве, о здешней радонежской земле — мне так хотелось, чтобы они полюбили её, ведь, по-настоящему, это же их родина! Ах, посмотри, посмотри скорей, какой клён!

Потом он стал говорить о зимних своих планах. А небо было так синее, так золотисто-густо светились под солнцем кленовые листья! И простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно...

А три недели спустя, в Гагре, — будто гром грянул для меня! Будто ночной выстрел, прозвучавший в Абрамцеве, летел и летел через всю Россию, пока не настиг меня на берегу моря. И точно так же, как и теперь, когда я пишу это, било в берег и изрыгало глубинный свой запах море в темноте, далеко направо, изогнутым луком огибая бухту, светилась жемчужная цепочка фонарей...

Тебе исполнилось уж пять лет! Мы сидели с тобой на тёмном берегу, возле невидимого во тьме прибоя, слушали его гул, слушали влажный щёлкающий треск гальки, скапывавшейся назад, вслед за убегающей волной. Я не знаю, о чём думал ты, потому что ты молчал, а мне воображалось, что я иду в Абрамцево со станции домой, но не той дорогой, какой я обычно ходил. И пропало для меня море, пропали ночные горы, угадываемые только по высоко светящимся огонькам редкие домики, — я шёл по булыжной, покрытой первым снегом дороге, и когда оглядывался, то на пепельно-светлом снегу видел свои отчётливые чёрные следы. Я свернул налево, прошёл мимо чёрного пруда в светлеющих берегах, вошёл в темноту елей, повернул направо... Я взглянул прямо перед собой и в тупике улочки увидел его дачу, осенённую елями, с полыхающими окнами.

Когда же всё-таки это случилось? Вечером? Ночью?

Мне почему-то хотелось, чтобы настал уже неуверенный рассвет в начале ноября, та пора его, когда только по посветлевшему снегу да по проявившимся, выступившим из общей тёмной массы деревьям догадываешься о близящемся дне.

Вот я подхожу к его дому, открываю калитку, поднимаюсь по ступеням веранды и вижу...

“Слушай, — спросил он как-то меня, — а дробовой заряд — это сильный заряд? Если стрелять с близкого расстояния?” — “Ещё бы! — отвечал я. — Если выстрелить с полуметра по осине, ну, скажем, в руку толщиной, осинку эту как бритвой срежет!”

До сих пор мучит меня мысль — что бы я сделал, увидь я его сидящим на веранде с ружьём со взведённым курком, с разутой ногой? Дёрнул бы дверь, выбил бы стекло, закричал бы на всю округу? Или в страхе отвёл бы взгляд и затаил дух в надежде, что, если его не потревожить, он раздумает, оставит ружьё, осторожно, придерживая большим пальцем, спустит курок, глубоко вздохнёт, как бы опоминаясь от кошмара, и наденет башмак?

И что бы сделал он, если бы я выбил стекло и заорал, — отбросил бы ружьё и кинулся бы с радостью ко мне или — наоборот, с ненавистью взглянув уже мёртвыми глазами на меня, поторопился бы дёрнуть ногой за спусковой крючок? До сих пор душа моя прилетает в тот дом, в ту ночь, к нему, силится слиться с ним, следит за каждым его движением, тщится угадать его мысли — и не может, отступает...

Я знаю, что на дачу он добрался поздно вечером. Что делал он в эти последние свои часы? Прежде всего переоделся, по привычке аккуратно повесил в шкаф свой городской костюм. Потом принёс дров, чтобы протопить печь. Ел яблоки. Не думаю, что роковое решение одолело его сразу, — какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь!